

*Искусство
и действительность*

ФРИДРИХ ШИЛЛЕР

ПИСЬМА
ОБ ЭСТЕТИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА



РИПОЛ
КЛАССИК

Искусство и действительность

Фридрих Шиллер

**Письма об эстетическом
воспитании человека**

«РИПОЛ Классик»

1795

УДК 122/129

ББК 87

Шиллер Ф.

Письма об эстетическом воспитании человека / Ф. Шиллер —
«РИПОЛ Классик», 1795 — (Искусство и действительность)

ISBN 978-5-386-10464-1

Трактат Фридриха Шиллера о роли искусства в обществе относится к самым глубоким произведениям немецкой философии. Книга, впервые опубликованная в 1795 году, и сегодня актуальна. Начиная с политического анализа современного общества – в частности, Французской революции и ее неспособности реализовать универсальную свободу, – Шиллер замечает, что люди не могут преодолеть свои обстоятельства без образования. Он рассматривает искусство как средство образования, которое может освободить людей от ограничений и излишеств как чистой природы, так и чистого ума. Посредством эстетического опыта, утверждает он, люди могут примирить внутренний антагонизм между чувством и интеллектом, природой и разумом. Предложение Шиллера об искусстве как основополагающем для развития общества и личности является долговременной влиятельной концепцией, и этот том дает самое четкое, самое жизненное выражение его философии. В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

УДК 122/129

ББК 87

ISBN 978-5-386-10464-1

© Шиллер Ф., 1795

© РИПОЛ Классик, 1795

Содержание

«Благородный адвокат человечества»	6
Фридрих Шиллер. Письма об эстетическом воспитании человека	13
Письмо 1	13
Письмо 2	15
Письмо 3	17
Письмо 4	19
Письмо 5	21
Письмо 6	23
Конец ознакомительного фрагмента.	27
Комментарии	

Фридрих Шиллер
Письма об эстетическом
воспитании человека

© Разумовская О. В., вступительная статья, 2018

© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2018

«Благородный адвокат человечества»

«Мы с детства привыкли соединять с именем Шиллера понятие обо всем благородном и возвышенном...»

Николай Гербель (1827 – 1883), поэт, переводчик, издатель первого собрания сочинений Шиллера на русском языке

Поклонники творчества Фридриха Шиллера (1759–1805), одного из крупнейших представителей немецкого Просвещения, ценят его, прежде всего, за лирику и драматургию, в то время как его публицистические и философские труды не столь известны широкой аудитории. Однако статьи Шиллера на этические и эстетические темы не менее значимы, чем его поэтическое творчество. Они оставили глубокий след в истории просветительских и педагогических учений своего времени и последующих столетий; кроме того, они представляют любопытнейший документ своей эпохи.

Для Шиллера-философа характерен тот же головокружительный полет мысли, тот неугаемый пыл, которыми были отмечены и его лирические и драматические сочинения. Английский писатель Эдвард Бульвер-Литтон (1803 – 1873) в биографической статье о Шиллере утверждал: «Разум пробудился в этом человеке гораздо раньше, чем поэтический гений». Самые ранние научные и публицистические работы Шиллера подтверждают это наблюдение. Его диссертация, написанная на выпускном курсе медицинского факультета военной академии в Штутгарте, поразила экзаменационную комиссию смелостью мысли и оригинальностью суждений. Заглавие этой научной работы («Философия физиологии»), завершённой Шиллером в возрасте двадцати лет, указывало на стремление выйти за рамки консервативного академического подхода к изучению человеческого организма и познанию его природы¹. Основатель военной академии, герцог Карл-Евгений (1728–1793), чье настойчивое покровительство сыграло столь роковую роль в судьбе поэта, дал его выпускному сочинению весьма красноречивую оценку: «...диссертация воспитанника Шиллера не лишена достоинств, в ней много огня. Но именно последнее обстоятельство заставляет меня не выпускать в свет его диссертации и продержать ещё год в Академии, чтоб жар его поостыл. Если он будет так же прилежен, то к концу этого времени из него, наверное, выйдет великий человек»².

Герцог Вюртембергский сам выбрал юного Шиллера для обучения в КарлсшULE, отметив его среди выпускников латинской школы. При этом слабое здоровье и тонкая душевная организация, проявившиеся у Фридриха ещё в детстве, представляли очевидные противопоказания к казарменной жизни и муштре, из которых состояло обучение в военной академии. Его родители готовили сына к духовной карьере, что отвечало его собственным склонностям и интересам. Отец Шиллера попытался отклонить «повестку», столь неожиданно нарушившую спокойствие их небогатой, но сплоченной и дружной семьи, однако герцог дважды повторял свой вызов, и Фридрих оказался зачислен на юридический факультет Штутгартской академии.

¹ Медицина того времени являла собой пестрое и противоречивое сочетание предрассудков, унаследованных ещё от Средневековья, попыток внедрения научно обоснованных методов (связанных с открытиями в сфере естествознания, химии, механики) и лечения шарлатанскими приемами, подобными магнетизму Месмера. Гипотеза о единстве и взаимовлиянии телесного и душевного начал в человеке, на которую опирался Шиллер в своей диссертации, не была абсолютно беспрецедентной – сходные мысли озвучивались сторонниками концепции витализма, в частности Георгом Эрнстом Шталем (1659–1734) и Альбрехтом фон Галлером (1708–1777), с чьими сочинениями Шиллер познакомился в процессе учебы.

² Диссертация Шиллера была отправлена на доработку, а ее автор остался еще на один год в стенах ненавистного ему учебного заведения. Проявив отмеченное герцогом прилежание, Шиллер продолжил работу над выбранной темой и представил к защите в 1780 году сочинение «О взаимосвязи животной природы человека с его духовной природой». Как и предыдущее сочинение, эта диссертация имела куда большее значение для психологии и философии, чем для медицины. Потребовав на всякий случай от Шиллера еще одно научное исследование, о классификации видов лихорадки, герцог разрешил присвоить выпускнику желаемую степень.

Учеба в этом заведении фактически приравнивалась к военной службе и подразумевала большое количество обязанностей и ограничений, тяготивших впечатлительного и плохо переносившего рутину Шиллера. Переход на медицинский факультет был одной из его попыток выразить несогласие с навязанной ему монаршей волей (кроме того, естествознание, психология и даже анатомия привлекали будущего поэта куда больше, чем сухой безжизненный слог древних законов). В дальнейшем Шиллер перешел к открытому противостоянию со своим навязчивым и требовательным благодетелем и неоднократно нарушал устав и распорядок казарменной жизни. За самовольный уход из полка, где он исполнял обязанности медика после окончания курса, и посещение премьеры его собственной пьесы «Разбойники» (1781) в Мангеймском театре Шиллер был помещен на гауптвахту и получил запрет на занятие литературной деятельностью. Решившись на побег из Вюртемберга, поэт навлек на себя недовольство герцога, закрывшее перед ним многие двери театрального и научного мира и обрекшее на прозябание и мучительные, зачастую бесплодные поиски заработка³.

Герцог Карл-Евгений был тщеславным и эгоистичным человеком и деспотичным правителем, пытавшимся ввести в подвластном ему княжестве режим абсолютной монархии и создать в своей резиденции в Людвигсбурге копию Версаля. Академию он учредил, чтобы готовить кадры высшего офицерства и чиновничества, безоговорочно преданные ему и его карликовой империи⁴.

Карл желал видеть Шиллера – многообещающего и талантливого юношу – в числе своих приближенных, готовых безоглядно льстить герцогу и восхвалять его «великие» дела⁵. Однако для Шиллера с юных лет не было ничего священнее и дороже свободы, и он не собирался вступать в ряды княжеских «питомцев» – придворных подхалимов и нахлебников. «Совесть была его музой», как выразилась о нем мадам де Сталь (1766–1817), познакомившаяся с писателем незадолго до его смерти. Человеку с такой гордой и свободолюбивой душой было тесно не только в стенах казенного учебного заведения, воспитанники которого ходили по территории школы строем и писали доносы на своих товарищей, но и в рамках самой эпохи, характер которой определялся в Германии административной раздробленностью и непрекращающимися войнами, а также растущим влиянием состоятельного, но политически инертного и консервативного бюргерства. Шиллер надеялся посредством искусства разбудить в своих соотечественниках гражданские и патриотические чувства, поэтому отдавал предпочтение драме и лирике, которые быстрее достигали своей аудитории, чем памфлеты или трактаты.

Многие его произведения – такие, как пьеса «Разбойники» и «Коварство и любовь» (1784), – действительно нашли горячий отклик у зрителей и всколыхнули совесть и сознание определенной прослойки немецкого общества. Однако воздействие пламенной лирики Шиллера и его злободневных, полных тираноборческого пафоса драм было избирательным и коснулось, в первую очередь, тех кругов, которые и так были готовы к началу преобразований и реформ в государстве. Более широкие слои населения продолжали игнорировать существовавшие в Германии политические и социальные проблемы и в театре видели лишь источник легкомысленного, зачастую фривольного развлечения⁶. Как и многие его единомыш-

³ Постоянные переезды, удручающее финансовое положение, необходимость работать на пределе возможностей, чтобы прокормить растущую семью, и прочие тяготы подорвали и без того слабое здоровье писателя, и он умер в возрасте сорока пяти лет от туберкулеза.

⁴ Недаром соотечественник Шиллера, поэт и музыкант Кристиан Ф.Д. Шубарт (1739–1791), служивший при дворе герцога Вюртембергского органистом, назвал учрежденную Карлом-Евгением академию «плантацией рабов». За критику правительства, сатиру на церковь и вольнодумные высказывания он был сначала изгнан из Вюртемберга, а затем заключен под стражу и провел в тюрьме десять лет.

⁵ В юности Шиллеру несколько раз поступали заказы на хвалебные или поздравительные стихотворения в честь Карла-Евгения и его любовницы, а затем мorganатической супруги, графини Франциски фон Гогенгейм (1748–1811).

⁶ Наиболее распространенным жанром бюргерского театра была так называемая мешанская драма, зачастую лишенная глубокого конфликта или злободневной проблематики, но импонирующая чувствительными и склонным к поверхностным

ленники, Шиллер понимал, что человечеству нужна новая идейно-философская программа, способная составить основу политической стабильности общества и духовного процветания человечества. Так начал формироваться замысел сочинения, опубликованного впоследствии под заглавием «Письма об эстетическом воспитании человека». По статьям, написанным в 80-х годах, «О трагическом искусстве» (1782), «О грации и достоинстве» (1783), а также философским стихотворениям «Отречение» (1786), «Боги Греции» (1788), «Художники» (1789) можно проследить, как развивались эстетические и философские концепции Шиллера.

«Письма» были изданы в 1795 году в журнале “Die Horen” («Оры»), который Шиллер возглавлял в течение двух лет, и подвели итог многолетним размышлениям писателя о принципах благоустройства общества и совершенствования человеческой личности. Непосредственным импульсом к созданию «Писем» стало то противоречивое впечатление, которое оставила у Шиллера Великая французская революция. Поэт пристально следил за развитием событий по газетным сводкам и письмам своих соотечественников, оказавшихся во Франции в этот трагический период, и поначалу приветствовал освободительное движение, стремительно распространявшееся на родине Вольтера и Дидро. Наделенный титулом почетного гражданина «ново-рожденной» республики, Шиллер, однако, крайне отрицательно воспринял воцарившийся в ней дух кровавого террора⁷ и поставил перед собой задачу написать своего рода инструкцию по ненасильственному преобразованию и улучшению общества посредством совершенствования природы его представителей. Конечной целью подобных метаморфоз становилось гармоничное состояние социума, в котором не было места отчуждению и агрессии, а граждане этого утопического мира воплощали бы собой гуманистический идеал эстетически развитой и свободной от страха и внешнего принуждения личности.

Эти идеи стали формироваться у Шиллера в очень раннем возрасте – возможно, еще во времена обучения в академии, когда он слушал лекции преподавателя философии Якоба Абеля (1751–1829), познакомившего своих студентов с азами учения Канта. После окончания университета Шиллер продолжил и углубил свое знакомство с работами Канта, и «Письма об эстетическом воспитании» во многом являются результатом переосмысления Шиллером основ кантовской этики и эстетики.

Непосредственным предшественником Шиллера в области морально-эстетической педагогики можно считать Готхольда Эфраима Лессинга (1729–1781), чей трактат «Воспитание рода человеческого» (1780) созвучен некоторым тезисам шиллеровых статей, хотя в большей степени обращен в сторону богословия⁸. В «Письмах об эстетическом воспитании» можно также увидеть следы увлечения Шиллера руссоизмом, размышления над идеями его современ-

аффектам зрителям, преимущественно мещанам среднего звена или состоятельным бюргерам. В этом жанре писали и Шиллер («Коварство и любовь»), и его предшественник в деле создания национального театра Лессинг («Мисс Сара Сампсон», «Эмилия Галотти»), однако их соперниками, куда более популярными у широкой публики, были А. В. Ифланд (1759–1814) и А. фон Коцебу (1761–1819), авторы сентиментальных драм и псевдоисторических пьес. С 1781 по 1808 год в Мангеймском театре зрители увидели 476 спектаклей по пьесам Ифланда и 1728 постановок по произведениям Коцебу, тогда как драмы Шиллера ставились всего 28 раз.

⁷ Поэт особенно болезненно воспринял казнь Людовика XVI. Свое понимание итога революции Шиллер с горечью и разочарованием выразил в одном из «Писем об эстетическом воспитании»: «... кажется, явилась физическая возможность возвести закон на трон, уважать, наконец, человека как самоцель и сделать истинную свободу основой политического союза. Тщетная надежда! Недостает моральной возможности, и благоприятный миг встречает невосприимчивое поколение» (Письмо 5).

⁸ «Воспитание рода человеческого» нельзя назвать трактатом в собственном смысле, это сто афористически лаконичных тезисов, в которых история религии рассматривается как история нравственного взросления человечества. Ветхий Завет символизирует период детства, нуждающегося в наставлениях и наказаниях; Новый Завет соответствует юности, демонстрирующей более высокую ступень духовной эволюции, но не ее вершину. Лессинг предрекает появление третьего завета и вступление человечества в новую, утопическую фазу, «время совершенства, когда человеку, по мере того как его рассудок будет все увереннее в своем лучшем будущем, не придется более искать в этом будущем мотивы своих поступков; тогда он будет творить добро ради самого добра, а не ради тех произвольных наград, которые за это обещаны» (п. 85). В «Письмах об эстетическом воспитании» Шиллера звучат сходные мысли, хотя их автор воздерживается от религиозного осмысления будущей утопии, предпочитая ее отвлеченно-идеалистическую трактовку.

ников Виланда⁹ и Гердера¹⁰, дань уважения историку Винкельману¹¹, а также влияние Гёте и последующую полемику с ним, однако на первом месте в его статьях все же остается сам Шиллер – неканоничный, в чем-то противоречивый и непоследовательный, склонный к крайнему идеализму и философскому эскапизму, но при этом глубокий и самобытный мыслитель.

Со многими мыслителями-современниками Шиллера роднит присущая просветителям вера в воспитательное и облагораживающее воздействие искусства на человеческую природу. Идея о решающей роли культуры в жизни общества и движении человечества к прогрессу возникает у Шиллера неоднократно, постепенно превращаясь в лейтмотив его философских сочинений. В одной из своих юношеских статей, «Театр как нравственное учреждение» (1784)¹², Шиллер пишет о просветительской функции театра и – шире – искусства вообще¹³. Изображая торжество высшей справедливости и безобразие порока, театр способствует нравственному очищению общества и возвышению человеческой личности над омутом отупляющей повседневности и морального разложения. Шиллер приравнивает сцену к церковной кафедре в силу способности обеих при помощи пламенного глагола изобличать грехи и прославлять благие свершения: «...тысячи пороков, оставшихся безнаказанными, карает театр; тысячи добродетелей, о которых умалчивает правосудие, прославлены сценой». Шиллер никогда не был только теоретиком: собственные эстетические принципы он воплощает в пьесе «Коварство и любовь» (1784), изобличая и осуждая пороки современного ему прусского общества: сословное неравенство, царящую в карликовых государствах деспотию, политическую апатию и консерватизм буржуазии, обреченность бунта героев-одиночек в отсутствие всенародной поддержки.

В начале 90-х годов XVIII века Шиллер сосредоточивается на чтении античных философов, изучении трудов Канта и занятиях историей. Он работает над сочинением о Тридцатилетней войне, преподает в Йенском университете ряд гуманитарных дисциплин, ведет переписку на философские темы с датским принцем Фридрихом Кристианом Аугустенбургским (1765–1814).

Венценосный адресат оказал Шиллеру своевременную и щедрую финансовую поддержку в очень трудный для писателя период (в 1790 году Шиллер женился, но вскоре заболел настолько серьезно, что не мог ни писать, ни преподавать; семейная жизнь молодой четы началась в крайне стесненных условиях). Фридрих Кристиан не разделял многих философских убеждений Шиллера, но очень высоко ценил его творчество и сам факт дружеской переписки с поэтом и хранил все его письма. Во время пожара в замке принца в 1794 году ориги-

⁹ Кристоф Мартин Виланд (1733–1813) – немецкий поэт, переводчик и критик. В его романе «Агатон» (1766–1767) изображен путь формирования совершенной, гармонически развитой личности, в которой чувственные порывы уравновешены голосом разума и добродетели. Подобный же идеал намечен в «Письмах...» Шиллера. Фактически, у Виланда Шиллер заимствовал концепцию «прекрасной души».

¹⁰ Иоганн Готфрид Гердер (1744–1803) – видный представитель зрелого немецкого Просвещения, критик, историк культуры. В своем масштабном сочинении «К философии истории человечества» (1784–1791) Гердер обрисовывает картину духовной эволюции человека на протяжении ряда эпох. Развитие культуры ведет к стремительному прогрессу человечества, способного достичь состояния нравственного совершенства, которое автор называл «богоподобным». Кант подверг концепцию истории Гердера критике, но Шиллеру (пусть и убежденному кантианцу) некоторые элементы его теории показались созвучными его собственному представлению об эволюции человечества и торжестве «гуманности» как апофеоза истории.

¹¹ Иоганн Винкельман (1717–1768) – немецкий историк и археолог, утверждавший превосходство античного искусства над всеми последующими этапами развития культуры. Исключительную роль Античности в формировании универсального эстетического идеала признает и Шиллер, на которого идеи Винкельмана оказали определенное влияние. Однако для Шиллера искусство древних греков является не столько ориентиром, сколько отправной точкой, тогда как для Винкельмана это вершина всего мирового искусства и непревзойденный эталон.

¹² В основе статьи лежал доклад, представленный поэтом на заседании Курпфальцкого Немецкого общества. Двумя годами ранее Шиллер уже высказывал созвучные идеи о функциях театра и его роли в жизни общества в статье «О современном немецком театре» (1782).

¹³ И в этом Шиллер единодушен с Лессингом, утверждавшем в цикле критических статей «Гамбургская драматургия» (1767–1769): «Театр должен быть школой нравственности».

налы писем были утрачены, но Шиллер любезно предоставил своему благодетелю их копии. Вероятно, в ходе восстановления текстов посланий Шиллера посетила мысль дополнить их, увеличив количество до двадцати семи, и превратить в цикл философских эссе, которые он издал под названием «Письма об эстетическом воспитании», сохранив видимость эпистолярной формы¹⁴. Глубокое изучение трудов Канта (которое стало возможно благодаря назначенной датским принцем пенсии), а также переписка с близким другом Шиллера Кёрнером¹⁵, разделявшим убеждения и взгляды поэта, помогли ему окончательно сформулировать эстетическую концепцию, лежащую в основе «Писем».

В своем сочинении Шиллер последовательно излагает программу нравственного преобразования человечества, следуя которой оно непременно должно достигнуть вершины своего развития и утопического состояния всеобщего благоденствия. Сам Шиллер скептически относился к перспективам ее реализации на практике, однако не отступал от своих убеждений, возвращаясь к ним и в более поздних своих сочинениях – как философских¹⁶, так и художественных. В первом же письме Шиллер чисто сердечно признает учение Канта основным источником своих воззрений, однако уточняет, что видит в идеях своего предшественника и вдохновителя «требования здравого рассудка и факты нравственного инстинкта, который представлен премудрой природой в качестве опекуна к человеку, пока ясное разумение не сделает его совершеннолетним»¹⁷.

Во втором письме Шиллер намекает на политические обстоятельства (в первую очередь разворачивающуюся во Франции драму), которые взволновали его и внушили ему необходимость озвучить важные для него мысли не только в личной переписке, но и в форме открытого воззвания, доступного широкой публике: «Взоры философа и любого человека напряженно прикованы к политической арене, на которой... решается теперь великая судьба человечества». Автор сетует на дух времени, который определяется принципами практичности и целесообразности: «...потребность подчиняет своему тираническому ярму падшее человечество. Польза является великим кумиром времени, которому должны служить все силы и покоряться все дарования». Искусство же находится в упадке, поскольку является детищем свободы, оно не должно служить сиюминутным и низменным запросам повседневности, и потому вынуждено «исчезнуть с шумного торжища века». Шиллер стремится обосновать политическую актуальность своего сочинения, ибо оно обещает показать человечеству тот путь, который прежде пролегал через революцию, то есть насилие и террор, в то время как «для решения на опыте указанной политической проблемы нужно пойти по пути эстетики». В конце второго послания выражена ключевая мысль всего этико-эстетического учения Шиллера, которую он будет развивать и иллюстрировать примерами на протяжении остальных двадцати пяти писем: «Путь к свободе ведет только через красоту».

Критическое описание своего века и упадка человечности Шиллер продолжает в пятом письме, где добавляет социальные и классовые акценты (в низших сословиях писатель с

¹⁴ Сами письма, восстановленные по копиям и черновикам, были опубликованы в 1875 году под заглавием “Augustenburger Briefe”.

¹⁵ Кристиан Готфрид Кёрнер (1756–1831) был ближайшим другом Шиллера, его помощником и единомышленником, издателем первого собрания сочинений поэта на немецком языке. Знаменитая «Ода к радости» Шиллера, положенная на музыку Бетховеном, была написана по просьбе Кёрнера и посвящена ему же. Свои размышления о природе красоты и ее роли в формировании нравственного начала в человеке, сформулированные в письмах Кёрнеру, Шиллер планировал издать под заголовком «Kallias, или О красоте», но не успел выполнить это намерение.

¹⁶ Статьи «О наивной и сентиментальной поэзии», 1795», «О нравственной пользе эстетических нравов», 1796, «О дилетантизме», 1799 (совместно с Гёте), «О возвышенном», 1801.

¹⁷ Это уточнение можно считать прямой отсылкой к эссе Канта «Ответ на вопрос, что такое Просвещение»: «Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого. Несовершеннолетие по собственной вине – это такое, причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-то другого». Шиллер же утверждает, что человек может быть сам себе руководителем и достичь духовной зрелости без помощи извне.

сожалением замечает проявление «грубых и беззаконных инстинктов», в то время как высшие демонстрируют «еще более отвратительное зрелище расслабления и порчи характера»). Только в древнегреческой культуре, как следует из шестого послания, можно найти пример гармоничного слияния природной простоты с прелестями искусства и достоинствами мудрости. Понимая, что человечество не могло вечно оставаться в фазе блаженного и прекрасного младенчества, Шиллер признает необходимость дальнейшего движения, но при этом сетует на разобщающее и развращающее действие прогресса: «...искусство и ученость... внесли во внутренний мир человека расстройство». Живой организм древнегреческой общины трансформировался в строго регламентированный и бездушный механизм современного общества, человек превратился в обломок когда-то прекрасного целого, «мертвая буква замещает живой рассудок, и развитая память служит лучшим руководителем, чем гений и чувство». В этих сожалениях звучат руссоистские нотки, хотя Шиллер не был противником прогресса или развития наук. В современном ему обществе он видит и положительные результаты просвещения: «...дух свободного исследования рассеял пустые призраки, которые долгое время заслоняли доступ к истине, и основа, на которой фанатизм и обман воздвигли себе трон, подорвана. Разум очистился от обманов чувств и от лживой софистики».

Письма под номером три и четыре возвращают нас к теме, затронутой еще в студенческих сочинениях Шиллера, ставших его выпускными работами: дуализм человеческой природы. Шиллер противопоставляет человека естественного, чьи порывы и стремления отмечены печатью эгоизма, агрессии и склонности к разрушению, и человека морального, образующегося в результате осознания человеком естественной необходимости к самоограничению: «... человек ... двояким образом может быть противопоставлен себе: или как дикарь – когда его чувства господствуют над его правилами, или как варвар – когда его правила разрушают его чувства». Выходом из этого противоречия Шиллер считал создание третьего вида (или этапа развития) человека – человека эстетического, в котором свобода внутренних порывов органично сочетается со способностью к самоограничению ради собственного и всеобщего блага¹⁸. Принцип противопоставления – природы и разума, необходимости естественной и необходимости нравственной, человека природного и человека морального – составляет основополагающий прием в построении аргументации «Писем», подготавливая при этом неизбежный вывод о необходимости синтеза антиномически разведенных аспектов человечности и общественного развития, а не предпочтения одной из опций за счет отказа от другой. По представлениям Шиллера, конечным результатом такого слияния потребности и необходимости, природного и нравственного, станет абсолютная свобода, достижимая лишь посредством искусства и реализуемая только в нем же. Эстетическому воспитанию как способу освобождения человека от внутренних противоречий и внешнего гнета Шиллер передоверил функции, отведенные в его эпоху революции.

Посредником между человечеством и искусством является художник, фигуру которого Шиллер описывает в девятом послании с особой экзальтацией и пафосом, наделяя чертами – и статусом – едва ли не мессии, небожителя, пророка и мученика: «...из чистого эфира его демонической природы льется источник красоты, не зараженной испорченностью поколений и времен, которые кружатся глубоко под ним в мутном водовороте». Письмо девять завершается развернутыми рекомендациями начинающему художнику, который только ощутил в себе великое призвание, но не знает, как его реализовать. Наставления Шиллера по-отечески просты, но суровы и требуют от деятеля искусств полного самоотречения и принесения своей жизни на алтарь высокого служения: «Живи со своим веком, но не будь его творением; служи своим

¹⁸ Здесь Шиллер полемизирует с Кантом, который отрицал возможность добровольного, ненасильственного стремления к преодолению чувственных порывов ради выполнения морального закона. По Канту, нравственный человек подчиняется долгу, а не собственной склонности к нравственному поведению. Шиллер пытался представить категорический императив не как навязанный извне, а как выражающий добрую волю самого субъекта, преодолевшего импульс поступить безнравственно.

современникам, но тем, в чем они нуждаются, а не тем, что они хвалят. Не разделяя с ними их вины, неси благородно и безропотно их наказания и свободно склоняйся под игом. Стойким мужеством, с которым ты отвергаешь их счастье, ты докажешь им, что не по своей трусости ты подчиняешься их страданиям».

Чтобы иметь возможность воспринимать красоту через искусство, человек должен примирить в себе противоборство двух противоположных импульсов – чувственного побуждения, исходящего из физического бытия, и побуждения «к форме», порожденного разумной ипостасью личности (письмо 12). «Оба побуждения нуждаются в ограничении... первое – чтобы оно не вмешивалось в область законодательства, второе – чтобы оно не проникло в область ощущений» (письмо 13).

Только преодолев несовместимость этих потребностей, можно восстановить «единство человеческой природы», причем подчинение этих антагонистичных импульсов должно быть взаимным (то есть соподчинением), а не односторонним, в противном случае гармония будет недостижима. Третьим импульсом движения человеческого духа, примиряющим оба побуждения и нивелирующим их противоречие, Шиллер объявляет побуждение к игре, которое представляет собой способность при помощи искусства осмыслять и творческими усилиями пересоздавать мир: «...чувственное побуждение ищет ограничения, оно желает получить объект; побуждение к форме само ограничивает, оно само хочет создать свой объект; побуждение к игре направлено к тому, чтобы получить объект, но таким, каким бы оно его создало, и создать его таким, каким чувство его воспринимает» (письмо 14). Побуждение к игре «даст человеку свободу как в физическом, так и в моральном отношении, ибо уничтожает всякую случайность и всякую зависимость». Объектом побуждения к игре является красота, во время созерцания которой «дух находится в счастливой середине между законом и потребностью» и он «именно потому, что имеет дело с обоими, не подчинен ни принуждению, ни закону». Таким образом, красота дает человеку свободу, а побуждение к игре открывает дорогу к ней: «...игра делает [человека] совершенным и сразу раскрывает его двойственную природу» (письмо 15). В каком-то смысле Шиллеру принадлежит обоснование расхожего тезиса «красота спасет мир», если под миром понимать человечество, а под спасением – сохранение и умножение интеллектуального и духовного его потенциала без ущерба для свободного развития индивида и без требования его самопожертвования ради общего блага. Искусство мыслится Шиллером как новая объединяющая система, сродни религии, но без ее заблуждений и догматизма, преодолевающая все противоречия прежней антагонистичной модели бытия человека и способная стать основой грядущего «эстетического государства» – политической и социальной утопии.

«Письма об эстетическом воспитании человека» Фридриха Шиллера – один из важнейших текстов в истории немецкой и европейской эстетики и идеалистической философии, связующее звено между Кантом – и Фихте, Шеллингом, Гегелем. Формулируя изложенные в «Письмах» тезисы, Шиллер реагировал на вызов, брошенный Кантом в эссе «Ответ на вопрос: что такое Просвещение»: «Sapere aude! – имей мужество пользоваться собственным умом!» В том же эссе Кант определяет суть эпохи Просвещения как «выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине». Смягчая кантовский нравственный максимализм и догматизм при помощи гуманистического идеализма, Шиллер выступил в роли мудрого и терпеливого наставника «несовершеннолетнего» и неразумного человечества, его «благородного адвоката», по выражению В.Г. Белинского. «Письма» Шиллера – это и манифест просветительского оптимизма, присущего этому выдающемуся поэту и мыслителю, и памятник общечеловеческого гуманизма, этическая и философская ценность которого по прошествии веков продолжает возрастать.

О.В. Разумовская, 2017

Фридрих Шиллер. Письма об эстетическом воспитании человека (пер. Э. Радлов)

Письмо 1

Итак, вам угодно разрешить мне изложить вам в ряде писем результаты моих изысканий о прекрасном и искусстве. Живо чувствую трудность, но также заманчивость и значительность этого начинания. Я буду говорить о предмете, стоящем в непосредственной связи с лучшей стороной нашего благоденствия и не в очень отдаленной с нравственным достоинством человеческой природы. Я буду защищать дело красоты пред сердцем, которое ощущает и проявляет всю ее силу; это сердце возьмет на себя самую тяжелую часть моего труда в исследовании, где приходится столь же часто ссылаться на чувства, как и на принципы.

Что я хотел испросить у вас как милость, то вы великодушно вменяете мне в обязанность, оставляя мне видимость заслуги там, где я лишь следую своему влечению. Свобода исследования, которую вы мне предписываете, не есть принуждение, а скорее потребность для меня. Малоопытный в пользовании школьными формами, я вряд ли подвергаюсь опасности прегрешить перед тонким вкусом злоупотреблением ими. Мои идеи, почерпнутые более из однообразного общения с самим собою, чем из богатого житейского опыта или из чтения, не станут отрекаться от своего происхождения и окажутся виновными в чем угодно, только не в сектантстве; они скорее падут от собственной слабости, чем станут искать поддержки в авторитете и чужой силе.

Не скрою, правда, от вас, что нижеследующие утверждения покоятся главным образом на Кантовых принципах; однако если ход этих исследований напомнит вам какую-либо особую философскую школу, то припишите это моей неспособности, а не Кантовым положениям. Нет, свобода вашего духа пребудет для меня неприкосновенной. В вашем собственном ощущении почерпну я данные, на которых буду строить; ваша собственная свободная мысль будет предписывать законы, которыми мне надлежит руководствоваться.

Только философы не согласны относительно тех идей, которые господствуют в практической части системы Канта, люди же – я это мог бы доказать – всегда были одного мнения относительно них. Освободите эти идеи от их технической формы, и они явятся стародавними требованиями здравого рассудка и фактами нравственного инстинкта, который представлен премудрой природой в качестве опекуна к человеку, пока ясное разумение не сделает его совершеннолетним. Но именно эта техническая форма, в которой истина является рассудку, в свою очередь, скрывает ее от чувства, ибо, к сожалению, рассудок, если намерен овладеть объектом внутреннего чувства, должен сначала разрушить его. Подобно химику, философ тоже соединяет только путем разложения и только в муках искусства обретает творение свободной природы. Чтобы схватить преходящее явление, он должен сковать его узами закона, прекрасное тело расчленить на понятия и сохранить его живой дух в скудном словесном остоле. Что удивительного, если естественное чувство не узнает себя в таком изображении и истина в очаге аналитика окажется парадоксом?

Итак, явите и по отношению ко мне некоторую снисходительность, если дальнейшие исследования удалят свой предмет от чувств ради того, чтобы приблизить его к рассудку. Что справедливо там применительно к нравственному опыту, то в еще большей мере справедливо

применительно к красоте. Все ее волшебство покоится на тайне, и сущность ее исчезает вместе с необходимою связью элементов.

Письмо 2

Однако не мог ли я лучше воспользоваться свободой, которую вы мне предоставляете, чем сосредоточивая ваше внимание на сфере прекрасного? Пожалуй, не время теперь так заботиться о своде законов для эстетического мира, когда гораздо больший интерес представляют события мира морального и обстоятельства времени так настойчиво призывают философскую пытливость заняться самым совершенным из произведений искусства, а именно построением истинной политической свободы.

Я бы не желал жить в ином веке и работать для иного. Каждый человек – гражданин своего времени, так же как и гражданин своего государства; и если считается неприкрытым и даже недозволенным выделяться нравами и обычаями из того круга, в котором живешь, то не следует ли считать для себя столь же обязательным руководствоваться и выборе своей деятельности вкусом и потребностями своего века?

Вкус этот, однако, говорит как будто не в пользу искусства, по крайней мере того, на которое исключительно направлено мое исследование. Течение событий придало духу времени направление, которое все более и более угрожает удалением его от искусства идеала. Это искусство должно покинуть действительность и с достойной смелостью подняться над потребностью, ибо оно – дитя свободы и хочет получать предписание от духовных требований, а не от материальной потребности. Ныне же господствует потребность и подчиняет своему тираническому ярму падшее человечество. Польза является великим кумиром времени, которому должны служить все силы и покоряться все дарования. На этих грубых весах духовные заслуги искусства не имеют веса, и, лишённое поощрения, оно исчезает с шумного торжища века. Даже философский дух исследования отторгает у воображения одну область за другой, и границы искусства суживаются по мере того как расширяет свои пределы наука.

Взоры философа и любого человека напряженно прикованы к политической арене, на которой, как правило, решается теперь великая судьба человечества. Не принимать участия в этом общем разговоре – не обнаружит ли это предосудительного равнодушия к благу общества? Этот великий спор о правах как по содержанию, так и по своим следствиям касается всякого, кто носит имя человека, особенно же самый способ ведения спора должен интересовать всякого, самостоятельно мыслящего. Вопрос, который прежде решался лишь слепым правом сильнейшего, как будто предложен теперь на разрешение суда чистого разума, и всякий, кто способен поставить себя в центр целого и свою личность слить с родом, может считать себя заседателем в этом суде разума; в то же самое время он, будучи человеком и гражданином мира, является и борющейся стороною, в большей или меньшей степени участвующей в решении спора. Итак, не только его собственное дело решается в этом великом судебном процессе, но и процесс ведется по законам, которые человек, как разумное существо, сам может и сам вправе предписать.

Как привлекательно было бы для меня подвергнуть этот предмет исследованию совместно с столь же остроумным мыслителем, как и вольнолюбивым гражданином мира, и предоставить решение сердцу, которое с прекрасным энтузиазмом посвящает себя благу человечества! Какой приятной неожиданностью было бы сойтись во мнениях на поле идей с вашим свободным от предрассудков умом при таком громадном различии положений и великом отдалении, неизбежном по условиям действительности! Если я не поддаюсь этому обольстительному соблазну и предпосылаю красоту свободе, то я надеюсь оправдать такое решение не только своею склонностью, но и принципами. Я надеюсь убедить вас, что этот предмет гораздо менее чужд потребностям времени, чем его вкусам, и более того – что для решения на опыте указанной политической проблемы нужно пойти по пути эстетики, ибо путь к свободе ведет

только через красоту. Но это доказательство не может быть дано без напоминания о тех основных началах, которыми вообще руководствуется разум в политическом законодательстве.

Письмо 3

Природа поступает с человеком не лучше, чем с остальными своими созданиями: она действует за него там, где он еще не в состоянии действовать как свободный интеллект. Но делает его человеком как раз то, что он не остается человеком, сделанным природой, а способен разумно проделать в обратном порядке те шаги, которые предвосхитила, ведя его, природа; он может пересоздать дело необходимости в дело свободного выбора и возвысить физическую необходимость в моральную.

Придя в себя из состояния чувственной красоты, он сознает себя человеком, озирается и видит себя – в государстве. Принужденный потребностями, он очутился там прежде, чем свободно мог избрать такое положение; нужда создала государство по простым законам природы ранее, чем он мог сделать то же самое по законам разума. Но человек, как нравственная личность, не мог и не может довольствоваться таким созданным нуждою государством, которое возникло только из его природного состояния и рассчитано только на это, и горе ему, если бы он мог довольствоваться этим! Итак, по тому же праву, по которому он зовется человеком, он отвергает господство слепой необходимости, подобно тому как он благодаря своей свободе отказывается от нее и во многих других случаях; так, чтобы привести хоть один только пример, он путем нравственности уничтожает и посредством красоты облагораживает низменный характер, налагаемый потребностью на половую любовь. Таким-то образом он искусственным путем в годы возмужалости наверстывает свое детство и, представляя себе идею естественного состояния, которое не дано ему ни в каком опыте, но которое необходимо в силу определений разума, создает себе в этом идеальном состоянии конечную цель, неизвестную ему в его действительном естественном состоянии, и делает выбор, на который он тогда не был способен, и поступает, как будто ему нужно начать сначала, как будто он по свободному решению и с полной сознательностью меняет состояние независимое на договорное состояние. Как ни искусно и твердо обосновал слепой произвол свою волю, как ни нагла самоуверенность, с которой он его защищает и окружает показной почтенностью, человек может оставить все это без внимания, ибо дело слепых сил не имеет авторитета, пред которым свободе приходилось бы преклоняться, и все должно подчиниться высшей конечной цели, которую разум провозгласил в лице человека. Таким способом возникает и находит оправдание попытка достигшего совершеннолетия народа превратить свое естественное государство в нравственное.

Это естественное государство (каким может называться всякое политическое тело, основывающее свое первоначальное устройство на силах, а не законах) противоречит моральному человеку, которому простая закономерность должна служить законом; но оно вполне соответствует физическому человеку, который только для того дает себе законы, чтобы управиться с силами. Однако физический человек существует в действительности, моральный же только проблематично. Итак, уничтожая естественное государство – а это ему необходимо сделать, – разум рискует физическим и действующим человеком ради проблематичного нравственного, рискует существованием общества ради возможного (хотя в смысле моральном и необходимого) идеала общества. Разум отнимает у человека то, чем он действительно владеет и без чего ничем не владеет, и взамен этого указывает ему на нечто, чем он должен бы и мог бы владеть; и если бы расчет на человека оказался чрезмерным, то разум отнял бы у него ради его человеческой сущности, которой еще нет и которая без вреда для его существования может и отсутствовать, самые средства животного бытия, составляющего, однако, условие его человеческой сущности. Разум подрубил бы под его ногами лесенку природы прежде, чем человек успел бы найти по собственной воле опору в законе.

Итак, великое затруднение состоит в том, что во времени общество в физическом значении слова не должно прекращаться ни на один момент, между тем как в нравственном значении

нии слова, в идее, оно только образуется, и нельзя же ради того, чтобы поднять достоинство человека, ставить на карту самое его существование. Когда часовщик исправляет часы, то он дает остановиться заводу часов, но живой механизм государства должно исправлять на ходу, нужно заменять колесо во время его вращения. Итак, нужно искать для продолжения общества опору, которая освободила бы его от естественного государства, подлежащего уничтожению.

Этой опоры не найти в естественном характере человека, который, будучи себялюбивым и склонным к насилию, скорее направлен на разрушение, чем на сохранение общества; ее не найти также и в его нравственном характере, который, согласно предпосылке, еще должен образоваться и на который законодатель не может влиять и рассчитывать с точностью, ибо этот характер свободен и *никогда не проявляется*. Следовало бы, значит, отделить от физического характера произвол, а от морального – свободу, следовало бы первый привести в согласие с законами, а второй сделать зависимым от впечатлений; следовало бы первый несколько удалить от материи, а второй несколько к ней приблизить, дабы создать характер третьего рода, родственной первым двум, который делал бы возможным переход от господства голых сил к господству законов и, не препятствуя развитию морального характера, служил бы чувственным залогом незримой нравственности.

Письмо 4

Несомненно одно: только тогда преобладание такого характера в народе может сделать безболезненным преобразование государства по моральным принципам и только такой характер может поручиться за долговечность этого преобразования. Когда создается моральное государство, тогда на нравственный закон рассчитывают как на созидательную силу, и свободная воля вовлекается в мир причин, где все связано строгою необходимостью и постоянством. Мы знаем, однако, что определения человеческой воли всегда случайны и что только в абсолютном существе физическая необходимость совпадает с моральной. Итак, если на нравственное поведение человека рассчитывать, как на *природные* следствия, то в нем такая природа должна *быть* и собственные побуждения должны направить человека к такому образу действия, который может быть лишь следствием нравственного характера.

Но воля человека имеет совершенно свободный выбор между обязанностью и склонностью, и никакое физическое принуждение не должно вмешиваться в эту царственную прерогативу его личности. И если желательно, чтобы человек сохранил эту способность выбора и, тем не менее, остался положительным звеном в причинной связи сил, то это может быть достигнуто лишь тем, что действия двух указанных пружин в мире явлений оказались бы тождественными и что содержание его воли, при всем различии в форме, оставалось бы тем же самым, то есть его побуждения были бы настолько согласны с его разумом, что могли бы стать всеобщим законом.

Можно сказать, что во всякой человеческой личности, по предрасположению и назначению, живет чистый идеальный человек, и великая задача бытия человека в том, чтобы при всех переменах согласоваться с его неизменным единством. Этот чистый человек, более или менее ясно проявляющийся в каждом субъекте, представлен в *государстве* – в этой объективной и как бы канонической форме, чье разнообразие субъектов стремится к единению. Но можно себе представить два различных способа согласования человека во времени и человека в идее, а следовательно, и столько же способов осуществления государства в индивидах, а именно: или чистый человек подавит эмпирического, государство уничтожит индивидов, или же индивид *станет* государством, человек во времени облагородится и станет идеальным человеком.

Правда, в односторонней моральной оценке это различие отпадает, ибо разум лишь тогда удовлетворен, когда его закон господствует безусловно, но тем большее значение получает это различие в совершенной антропологической оценке, где наряду с формой принимается во внимание и содержание, а также имеет голос и живое ощущение. Правда, разум требует единства, природа же – разнообразия, а человек подчинен обоим законодательствам. Законодательство разума^[1] запечатлено неподкупным сознанием, законодательство природы – неотъемлемым чувством. Если нравственный характер может получить силу лишь благодаря тому, что естественный принесен ему в жертву, то это всегда свидетельствует о недостаточности развития, и весьма несовершенно то государственное устройство, которое может добиться единства лишь принесением в жертву разнообразия. Государство должно уважать в личности не только объективный и родовой, но и субъективный и специфический характер, и, распространяя незримо господство нравственности, оно не должно опустошать царства явлений.

Ремесленник, обрабатывая бесформенный материал, не останавливается перед насилием над ним, чтобы придать ему форму соответственно его целям, ибо природа, которую он обрабатывает, сама по себе не заслуживает уважения, и он не заботится о целом ради частей, а напротив – о частях ради целого. Художник, приступая к обработке того же материала, также мало останавливается перед насилием над ним, он только избегает выставлять это насилие напоказ: материал, который он обрабатывает, он уважает столь же мало, сколь и ремесленник, он только постарается обмануть кажущейся уступчивостью глаз, который оберегает свободу этого материала. Совсем иное дело с художником-педагогом или политиком, который в одно и

то же время в человеке видит как свой материал, так и свою задачу. Здесь цель возвращается к материалу, и только потому части могут подчиниться целому, что целое служит частям. Уважение, с которым политический мастер касается своего материала, должно быть совершенно иным, чем то, с которым художник относится к своему материалу; первый должен щадить своеобразие и индивидуальность материала объективно и ради внутреннего существа, а не только субъективно и ради обманчивого впечатления чувства.

Но именно потому, что государство должно быть организацией, которая образуется сама по себе и сама для себя, оно может стать действительным, лишь поскольку части разовьются до идеи целого. Та как государство служит представителем чистой и объективной человеческой природы в сердцах своих граждан, то оно должно относиться к своим гражданам так, как они сами к себе относятся, и может уважать лишь в *той* мере их субъективную человечность, в какой она объективно облагородилась. Если внутренне человек согласен сам с собою, то он и при наибольшем обобщении своего поведения сохранит свое своеобразие, и государство станет лишь выразителем его добрых инстинктов, более ясной формулой его внутренней закономерности. Если же, напротив, в характере известного народа субъективный человек еще настолько противоречит объективному, что только подавлением первого можно доставить второму победу, то и государство выкажет по отношению к гражданам суровую строгость закона и, чтобы не стать жертвой их, должно будет без уважения раздавить враждебную индивидуальность.

Человек же двояким образом может быть противопоставлен себе: или как дикарь, когда его чувства господствуют над его правилами, или как варвар, когда его правила разрушают его чувства. Дикарь презирает искусство и признает природу за неограниченного владыку над собой; варвар презирает и бесчестит природу, но – более презренный, чем дикарь, – он часто оказывается рабом своего раба. Образованный человек создает себе из природы друга и уважает ее свободу, обуздывая ее произвол.

Итак, разум, внося в физическое общество свое моральное единство, не должен оскорблять разнообразие природы. Природа же, желая сохранить разнообразие в моральном строении общества, не должна тем самым наносить ущерб моральному единству; победоносная форма одинаково далека как от однообразия, так и от беспорядка. Итак, *цельность* характера должна быть обретаема в народе, который оказался бы достойным и способным променять государство на государство свободы.

Письмо 5

Таков ли характер, обнаруживаемый нынешним веком и современными событиями? Сразу же обращаю свое внимание на самый выдающийся предмет в этой обширной картине.

Правда, мнение потеряло свое обаяние, произвол разоблачен, и хотя он еще и облечен властью, все ж ему не удастся снискать себе уважения; человек пробудился от долгой беспечности и самообмана, и упорное большинство голосов требует восстановления своих неотъемлемых прав. Однако он не только требует их. По эту и по ту сторону он восстает, чтобы насильно взять то, в чем, по его мнению, ему несправедливо отказывают. Здание естественного государства колеблется, его прогнивший фундамент оседает, и, кажется, явилась *физическая* возможность возвести закон на трон, уважать, наконец, человека как самоцель и сделать истинную свободу основой политического союза. Тщетная надежда! Недостает *моральной* возможности, и благоприятный миг встречает невосприимчивое поколение.

Человек отражается в своих поступках; какой же облик является в драме нынешнего времени? Здесь одичание, там расслабление – две крайности человеческого упадка, и обе соединены в *одном* промежутке времени!

В низших и более многочисленных классах мы встречаемся с грубыми и незаконными инстинктами, которые, будучи разнузданы ослаблением оков гражданского порядка, спешат с неукротимой яростью к животному удовлетворению. Может быть, объективная сущность человека и имела основание к жалобам на государство, но субъективная должна уважать его учреждения. Разве можно порицать государство за то, что оно пренебрегло достоинством человеческой природы, когда нужно было защитить самое существование ее; что государство потопилось разъединять, пользуясь силой тяготения, и соединять при помощи силы сцепления, когда нельзя еще было думать об образовательной силе? В разложении государства заключено его оправдание. Разнузданное общество, вместо того чтобы стремиться вверх к органической жизни, катится обратно в царство стихийных сил.

С другой стороны, цивилизованные классы представляют нам еще более отвратительное зрелище расслабления и порчи характера, которые возмутительны тем более, что источником их является сама культура. Я не помню, какой древний или новый философ сделал замечание, что благороднейшее при разложении является отвратительнейшим, но справедливость этого замечания оправдывается и в области моральной. Дитя природы, сбросив оковы, становится неистовым, питомец искусства – становится негодяем. Просвещение рассудка, которым не без основания хвалятся высшие сословия, в общем столь мало облагораживает помыслы, что скорее оправдывает развращенность своими учениями. Мы отрекаемся от природы в ее законном поле действия, дабы испытать ее тиранию в нравственном, и, противодействуя ее влиянию, мы заимствуем в то же время у нее наши принципы. Притворная благопристойность наших нравов отказывает природе в простительном *первенстве*, дабы в нашей материалистической этике признать за природой решающий, *последний* голос. Эгоизм построил свою систему в лоне самой утонченной общительности, и, не приобретя общительного сердца, мы испытываем все болезни и все невзгоды общества. Свободное свое суждение мы подчиняем его деспотическому мнению, наше чувство – его причудливым обычаям, нашу волю – его соблазнам и только лишь оберегаем свой произвол от священных прав общества. Сердце светского человека сохнет в гордом самодовольстве, между тем как грубому человеку природы еще доступна симпатия, и каждый словно стремится спасти только свои жалкие пожитки из разоренного пылающего города. Думают, что только при полном отречении от чувствительности можно избежать ее заблуждений, и насмешки, которые часто целительно бичуют мечтателя, так же мало щадят благороднейшее чувство, выставляя его на поругание. Культура не только не освобождает нас, но, напротив, со всякой новой силой, в нас образуемой, развивает и новые потреб-

ности; узы физического стискивают нас все страшнее, так что боязнь потери заглушает даже пламенное стремление к совершенствованию, и правило пассивного повиновения получает значение высочайшей жизненной мудрости. Итак, дух времени колеблется между извращенностью и дикостью, между тем, что противоестественно, и тем, что только естественно, между суеверием и моральным неверием, и только равновесие зла иногда ставит ему границы.

Письмо 6

Но, может быть, я изобразил зло нашего века преувеличенно? Этого упрека я не ожидаю, а скорее другого: что я тем самым доказал слишком многое. Вы скажете, что эта картина имеет сходство с нынешним человечеством, но она применима вообще ко всем народам, охваченным культурой. Все они без исключения благодаря мудрствованию отпадают от природы прежде, чем разум вернет их к ней.

Однако при некотором внимании к характеру времени нас должен поразить контраст между теперешней формой человечности и прежней, в особенности греческой. Слава образованности и утонченности, которую мы по справедливости гордимся, сопоставляя ее с природной простотой, исчезает в сравнении с природой греков, где сочетались все прелести искусства со всем достоинством мудрости и которая не стала при этом их жертвой, как это случилось с нами. Греки не только посрамляют нас простотой, чуждой нашему веку, – они в то же время наши соперники, часто даже наши образцы, именно в тех качествах, в которых мы находим утешение, глядя на противоестественность наших нравов. Обладая равно полнотой формы и полнотой содержания, равно мыслители и художники, равно нежные и энергичные, вот они пред нами, объединяющие в чудной человечности юность воображения и зрелость разума.

В те времена, при том прекрасном пробуждении духовных сил, чувства и ум еще не владели строго разграниченными областями, ибо раздор не озлобил еще их и не заставил враждебно размежеваться и определить взаимные границы. Поэзия еще не блудила с остроумием, и умозрение еще не опозорило себя хитросплетениями. Они могли в случае нужды обменяться обязанностями, ибо каждый из них по-своему чтит истину. Как высоко ни подымался разум, он любовно возвышал до себя материю, и, как тонко и остро он ни разделял, он никогда не калечил. Он расчленил человеческую природу и, возвеличив, распределял по сонму прекрасных богов, но разум не разрывал человеческой природы на части, а лишь только различным образом перемешивал их, так что в каждом боге присутствовало все человечество. Совсем другое дело у нас, современных людей! И у нас образ рода в увеличенном виде расчленен в индивидах, но в ряде беспорядочных отрывков, а не в видоизмененных сочетаниях, так что представление о цельности рода можно составить, лишь вопрошая ряд отдельных индивидов. Можно, мне кажется, утверждать, что в опыте у нас духовные силы проявляются в таком же разобщении, в каком представляет их психолог, и мы не только видим отдельных субъектов, но и целые классы людей, в коих развита только часть их способностей, а другие способности, словно в захиревших растениях, можно найти лишь и виде слабого намека.

Я не упускаю из виду преимуществ, которые нынешнее поколение, рассматриваемое как единое целое, имеет на весах рассудка пред лучшим, что дано прошлым, однако сомкнутыми рядами оно должно начать состязание, и целое должно померяться с целым. Кто же из новых выступит вперед, дабы сразиться один на один за приз человечества с отдельным афинянином?

Откуда же это невыгодное отношение индивидов при выгодах целого рода? Почему каждый отдельный грек мог служить представителем своего времени, а отдельный современный человек не отважится на это?

Потому что тем придавала формы всеобъединяющая природа, а этим – всеразъединяющий рассудок.

Сама культура нанесла новому человечеству эту рану. Как только сделалось необходимым благодаря расширившемуся опыту и более определенному мышлению, с одной стороны, более отчетливое разделение наук, а с другой – усложнившийся государственный механизм потребовал более строгого разделения сословий и занятий, тотчас порвался и внутренний союз человеческой природы, и пагубный раздор раздвоил ее гармонические силы. Рассудки интуитивный и умозрительный, настроенные теперь враждебно, разграничили поле своей деятельно-

сти и стали подозрительно и ревниво оберегать свои границы, а вместе с ограничением сферы деятельности нашли в самих себе господина, который нередко подавлял все остальные способности; подобно тому как в одном случае избыточное воображение опустошает кропотливые насаждения рассудка, так в другом дух абстракции пожирает то пламя, около которого могло бы согреться сердце и воспламениться фантазия.

Это расстройство, которое внесли во внутренний мир человека искусство и ученость, стало благодаря новому духу правления полным и всеобщим. Конечно, нельзя было ожидать, что простота организации первых республик переживет простоту их нравов и отношений, однако, вместо того чтобы подняться до более высокой органической жизни, она ниспала до простого и грубого механизма. Природа полипов, свойственная греческим государствам, где каждый индивид наслаждался независимой жизнью, а когда наступала необходимость, мог сливаться с целым, теперь уступила место искусному часовому механизму, в котором из соединения бесконечно многих, но безжизненных частей возникает в целом механическая жизнь. Теперь оказались разобщенными государство и церковь, законы и нравы; наслаждение отделилось от работы, средство – от цели, усилие – от награды. Вечно прикованный к отдельному малому обломку целого, человек сам становится обломком; слыша вечно однообразный шум колеса, которое он приводит в движение, человек не способен развить гармонию своего существа, и, вместо того чтобы выразить человечность своей природы, он становится лишь отпечатком своего занятия, своей науки. Однако и это скудное, отрывочное участие отдельных частей в целом не зависит от форм, которые они создают сами (ибо как можно доверить их свободе такой искусный и хрупкий механизм?), а предписывается им с мелочной строгостью формуляром, которым связывается их свободное разумение. Мертвая буква замещает живой рассудок, и развитая память служит лучшим руководителем, чем гений и чувство.

Можем ли мы удивляться пренебрежению, с которым относятся к прочим душевным способностям, если общество делает должность мерилом человека, если оно чтит в одном из своих граждан лишь память, в другом лишь рассудок, способный к счету, в третьем лишь механическую ловкость; если оно здесь, оставаясь равнодушным к характеру, ищет лишь знания, а там, напротив, прощает величайшее омрачение рассудка ради духа порядка и законного образа действий; если оно в той же мере, в какой оно снисходительно к экстенсивности, стремится к грубой интенсивности этих отдельных умений субъекта, – удивительно ли, что все другие способности запускаются ради того, чтобы воспитать единственно ту способность, которая дает почести и награды? Конечно, мы знаем, что мощный гений не ограничивает круга своей деятельности профессией, но посредственный талант отдает тому занятию, которое досталось ему в удел, всю скудную сумму своей силы, и только недюжинная голова может, без ущерба для своей профессии, предаваться любительским занятиям. Сверх того для государства всегда дурная рекомендация, если силы превышают данное поручение или если высшие духовные потребности талантливого человека соперничают с его должностью. Государство столь ревниво следит за тем, чтобы слуги его были его полной собственностью, что оно охотнее – и кто может в этом упрекнуть его? – согласится разделять своего служителя с Венерой-Кифереей, чем с Венерой-Уранией.

Таким-то образом постепенно уничтожается отдельная конкретная жизнь ради того, чтобы абстракция целого могла поддержать свое скудное существование, и государство вечно остается чуждым своим гражданам, ибо чувство нигде его не может найти. Правящая часть под конец совершенно теряет из виду разнообразие граждан, ибо она принуждена – ради удобства – классифицировать их и иметь дело с людьми только как с представителями, так сказать, получать их из вторых рук, то есть смешивать людей с чисто рассудочной стряпней, и управляемый не может не принимать с холодностью законы, которые так мало приспособлены к нему самому. В конце концов положительное общество, пресыщенное тем, что ему приходится поддерживать связь, которую государство несколько ему не облегчает, распадается в природно-нравственное

состояние (такова уже давно судьба большинства европейских государств), где властью является только *одна* партия, ненавидимая и обманываемая теми, кто делает ее необходимою, и уважаемая лишь теми, кто может обойтись без нее. Могло ли человечество пойти по иному пути, чем по тому, по которому оно в действительности пошло, если принять в расчет эту двойную силу, которая давила на него снаружи и изнутри? Дух умозрения стремился в мире идей к вечным приобретениям, но в это время он стал чужаком в чувственном мире и потерял содержание ради формы. Дух практической деятельности, ограниченный однообразным кругом объектов, а в нем еще более ограниченный формулами, должен был потерять из виду свободное целое и оскудеть вместе со своей сферой. Подобно тому как дух умозрения подвержен искушению придать действительности формы мыслимого и субъективным условиям своей способности представления – значение конститутивных законов бытия предметов, так дух практики кидается в противоположную крайность, то есть оценивает всякий опыт по одному лишь отрывку опыта и стремится приспособить правила *своей* деятельности ко всякой деятельности без различия. Первый должен был стать жертвой пустой изощренности, второй – педантичной ограниченности, ибо первый слишком возвышался над единичным, второй же стоял ниже уровня целого. Но вред этого направления духа не ограничился сферой знания и созидания, он был не менее заметен и на чувствах и действиях. Мы знаем, что степень восприимчивости духа зависит от живости, а объем – от богатства воображения. Но перевес аналитической способности по необходимости лишает воображение его силы и огня, а ее богатство пострадает от более ограниченной сферы объектов. Отвлеченный мыслитель потому обладает весьма часто *холодным* сердцем, что он расчленяет впечатления, которые способны тронуть душу только в их цельности. У практика очень часто *узкое* сердце, ибо его воображение, заключенное в однообразной сфере его занятий, не может приспособиться к чужому способу представления. Мне нужно было – по пути моего исследования – раскрыть вредное направление современности и его источники, не указывая на те выгоды, которыми природа возмещает вред. Я охотно, однако, признаюсь вам, что род никаким иным путем не мог совершенствоваться, как ни должны были пострадать и индивиды при этом раздроблении их существа. Греческий образец человечества представлял собою, бесспорно, высшую точку развития, на которой человечество не могло удержаться и над которой оно не могло возвыситься. Не могло удержаться, ибо рассудок, с накопившимся запасом знаний, неизбежно должен был отделиться от восприятия и непосредственного созерцания и стремиться к ясности понимания; но человечество не могло и подняться выше, ибо только определенная степень ясности может сосуществовать с определенной полнотой и определенным теплом. Греки достигли этой ступени, и если б они желали подняться на высшую ступень, то им пришлось бы, как нам, отказаться от цельности своего существа и преследовать истину по разрозненным путям.

Не было другого средства к развитию разнообразных способностей человека, кроме их противопоставления. Этот антагонизм сил представляет собой великое орудие культуры, но только лишь орудие, ибо, пока антагонизм существует, человек находится лишь на пути к культуре. Только благодаря тому, что отдельные силы в человеке обособляются и присваивают себе исключительное право на законодательство, они впадают в противоречие с предметной истиной и заставляют здравый смысл, обыкновенно лениво довольствующийся лишь внешностью явления, проникать в глубину объектов. Тем, что чистый рассудок присваивает себе авторитет в мире чувств, а эмпирический стремится к тому, чтобы подчинить первый условиям опыта, обе способности развиваются до полной зрелости и исчерпывают весь круг своих сфер. Тем, что воображение осмеливается здесь произвольно расчленить мировой порядок, оно принуждает разум подняться к высшим источникам познания и призвать на помощь против воображения закон необходимости.

Вследствие одностороннего пользования силами индивид неизбежно придет к заблуждению, но род – к истине. Мы придаем этой единичной силе как бы крылья и искусственно

выводим ее далеко за пределы, которые как бы положены ей природою, только тем, что всю энергию своего духа сосредоточиваем в *одном* фокусе и стягиваем все наше существо в эту одну силу. Несомненно, что все человеческие индивидуы в совокупности, со всей силою зрения, дарованного им природою, никогда не достигли бы того, чтобы выследить спутника Юпитера, которого открывает телескоп астронома; точно так же несомненно, что человеческая мысль никогда не представила бы анализа бесконечного или критики чистого разума без того, чтобы разум обособился в отдельных призванных к тому субъектах, отделился от всякой материи и самым упорным отвлечением обострил свой взор к восприятию безусловного. Но способен ли такой дух, как бы растворенный в чистом рассудке и в чистом созерцании, к замене строгих оков логики свободным полетом поэтического творчества и к точному и целомудренному восприятию индивидуального характера вещей? Здесь природа даже универсальному гению ставит границы, которых ему не перейти, а истина до тех пор будет иметь своих мучеников, пока философия будет усматривать свою благороднейшую задачу в том, чтобы искать способов избежать заблуждений. Сколько бы ни выигрывал мир, как целое, от этого раздельного развития человеческих сил, все же нельзя отрицать того, что индивидуы, затронутые им, страдают под гнетом этой мировой цели. Гимнастические упражнения создают, правда, атлетическое тело, но красота создается лишь свободною и равномерною игрою членов. Точно так же напряжение отдельных духовных сил может создавать выдающихся людей, но только равномерное их сочетание создает людей счастливых и совершенных. И в каком отношении находились бы мы к прошлым и будущим мировым эпохам, если бы развитие человеческой природы требовало подобной жертвы? Мы были бы рабами человечества, мы в течение нескольких тысячелетий несли бы ради него труд рабов, и на нашей исковерканной природе запечатлелись бы постыдные следы этого рабства, дабы позднейшие поколения могли в блаженной праздности заботиться о своем нравственном здоровье и могла свободно расти и развиваться человеческая природа!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

Я ссылаюсь здесь на недавно появившееся сочинение моего друга Фихте: «О назначении ученого», где из настоящего положения читатель найдет чрезвычайно ясный вывод, которого на этом пути еще никто не искал.